

О том, как спастись от расстрела, устроил сталинскую премию за 5 кг мясного жира и основал советский альпинизм

<http://oralhistory.ru/talks/orh-349-350>

🎙 14 декабря 1973

Собеседник

Делоне Борис Николаевич

Ведущий

Дувакин Виктор Дмитриевич

Дата записи

Беседа записана 14 декабря 1973 и опубликована 17 ноября 2015.

Введение

Борис Николаевич Делоне — аристократ, потомок французских дворянских семей, человек блистательный и остроумный. Его отец, Николай Борисович, механик и математик, был основателем Киевского общества воздухоплавания.

В 1970 году, когда Дувакин вел свои записи уже три года, ректор МГУ И.Г. Петровский инициировал тематическое расширение проводимых бесед, большее внимание к воспоминаниям ученых, в первую очередь Московского университета. Во время приема у ректора 28 декабря 1971 года был составлен список ведущих ученых-академиков, с которыми Иван Георгиевич рекомендовал встретиться. Примечательно, что несмотря на рекомендацию ректора, почти все ученые от записи отказались. Рекомендовал Дувакина и активно способствовал организации записей с учеными академик-математик П.С. Александров (его сестра была дружна с женой Дувакина). Именно по рекомендации Александрова состоялась беседа с Б.Н. Делоне. К концу 1973 года общий для собеседников контекст был такой: внук Бориса Николаевича, Вадим Делоне, после участия в известной демонстрации семерых на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию 25 августа 1968 года, был репрессирован и вышел из заключения в 1971 году, в 1973 арестовывали его жену Ирину Белгородскую. В эмиграцию они уедут в 1975 году. Андрей Синявский, любимый ученик Дувакина, за участие в процессе над которым Дувакина травили и выгнали с филологического факультета, уже отсидел пять с половиной лет и уехал во Францию. 15 января 1973 года во время посещения куратора в ЦК скоропостижно скончался ректор И.Г. Петровский.

К сожалению, начало беседы, в котором ученый рассказывает о детстве и годах студенчества, не сохранилось. Рассказ начинается с описания революции в Киеве, комичных обысков, белых и красных расстрелов.

После революции ученый переезжает в Ленинград, а в 1934 году, вместе с Академией наук — в Москву. Борис Николаевич подробно рассказывает об истории математики в России, возводя советскую математику к слиянию московской и ленинградской математических школ. Он характеризует многих учителей и коллег, но больше всего уделяет внимания создателю Московской математической школы — академику Николаю Николаевичу Лузину. Неформальный кружок Лузина — Лузитания — и был научной школой.

Заключительная часть беседы о второй, после математики, страсти ученого — альпинизме. Прекрасно физически развитый и закаленный, он уже в детстве стал профессиональным альпинистом. Условия жизни и развитие нашей страны в 1920-е годы не позволяли таких увлечений. Лишь в 1930-е стараниями членов Академии — в первую очередь Делоне — и членов правительства, альпинизм в СССР приобрел необходимые организационные формы. Борис Николаевич внедрил альпинистские базовые лагеря и провел великое множество альпинистских мероприятий, в результате чего его, без сомнения, можно считать одним из основоположников советского альпинизма.

Виктор Дмитриевич Дувакин: Прошу вас, Борис Николаевич. Расскажите, и начните с даты рождения, расскажите, откуда у вас такая чудная фамилия — да, откуда у вас такая чудная фамилия, — и вообще схематически, так сказать, дайте о себе сведения, а потом, значит, мы будем разговаривать о ваших, так сказать, побочных занятиях, кроме того, что вы математик (потому что самую математику я не записываю — все равно не запишется, ее вы сами пишете), и о тех людях, с которыми вы встречались. Прошу вас.

Борис Николаевич Делоне: Я родился пятнадцатого марта тысяча восемьсот девяностого года, мне сейчас восемьдесят четвертый год кончается. Мой прадед был чистым французом и пришел в армии Наполеона как врач этой армии, был взят в плен и как француз очень хорошей семьи (он был племянником последнего коменданта Бастилии — маркиза Де Лоне)...



Профессор механики Н.Б. Делоне со своими сыновьями — Львом, Борисом и Александром.

В.Д.: Очень любопытно.

Б.Д.: ...он был интернирован просто в Москве. В Москве он влюбился в помещицу Смоленской губернии Тухачевскую и на ней женился. <...>*

* [Примечание 1973 года] По техническим причинам часть записи беседы с Борисом Николаевичем Делоне не была переписана. Борис Николаевич рассказывал о своем отце — профессоре механики, который окончил Московский университет и был учеником знаменитого механика Николая Николаевича Буховского. Говорил, что в тысяча девятисотом году его отец был приглашен в только что открывшийся Варшавский университет, и таким образом семья Делоне переехала в Варшаву. Далее он рассказывал о годах своей учебы, о своем здоровье, говорил, что с тринадцати до двадцати трех лет у него были чрезвычайные головные боли и он часто терял сознание и что врачи говорили, что это будто бы неправильный обмен веществ. Перейдя к воспоминаниям о Гражданской войне, которую он пережил в юности на Украине, Борис Николаевич рассказывал о наступлении Пилсудского на Киев, взятии Киева и его освобождении Красной Армией. В связи с этим он много говорил о поляках и Польше.

У нас же был Толстой...

В.Д.: Ну, вообще-то конечно.

Б.Д.:... Лобачевский, мало ли что у нас было. И у них был Шопен, Коперник.

В.Д.: Коперник?

Б.Д.: Коперник. Да. Вот.

Гражданская война

В.Д.: И как же они себя вели?

Б.Д.: Поляки себя вели просто неприлично. Они, например, взорвали древний, весьма замечательный цепной мост через Днепр — просто из злобы, в женских гимназиях устраивали уборные и так далее. И вот тут я видел очень такую странную вещь, которую сейчас все, конечно, всегда вспоминают, — это как русские крестьяне выставили этих поляков, Буденный. Поляки до того испугались его, что они всё бросали, пушки бросали, при мне: рубили построжки, на лошадях удирали, а пушки оставались. Так что поляков так двинул Буденный, что от них и следа не осталось.

В.Д.: Это уже 20-й год?

Б.Д.: Это 20-й год.

Теперь, в смысле, так сказать, питания и жизни в Киеве. Было то хуже, то лучше, то хуже, то лучше... Самое плохое — конечно, при поляках. Тогда просто зарплаты нам вообще не платили в Политехническом институте, в принципе, не до того было, и каждый спасался как мог. Я ходил и по деревням искать работы, чего я только не делал! Но, в общем, живы остались.



Голод был такой, что однажды я совсем ослеп от голода, совсем, ничего не видел, — это отсутствие жиров полное. Так что Гражданская война — это, конечно, самое странное, что я видел.

В.Д.: И самое страшное, да?

Б.Д.: Самое страшное — настоящая война, я думаю, но я сам ни разу не был на настоящей войне. Почему? Тогда уже даже приват-доцентов не брали, а потом я профессором был, а профессоров не брали, священников не брали. Но братья мои были, они убиты на войне.

Вот вот вам Гражданская война. Достаточно?

В.Д.: Да. Ну, а вы подвергались тогда со стороны этих?..

Б.Д.: Репрессиям?

В.Д.: Репрессиям, да.

Б.Д.: Нет, нет.

В.Д.: Я так представляю себе, что если шестнадцать властей, то каждая власть сажала.

Б.Д.: Нет-нет-нет, никто меня не сажал, никто не сажал.

Спасение отца

Должен сказать, что во время Гражданской войны, конечно, были и некоторые пикантные эпизоды.

Как я вам уже говорил, отец мой был совершенно распропагандированным, так сказать, ну, без партийного билета большевиком, а мать — наоборот, крайне правого направления. Поэтому при входе каждый белых мать надевала лучшее платье и шла с торжеством гулять: что, вот, Бог, царь и отечество побеждают — царь, в котором ни капли русской крови не было. Так. А когда красные — наоборот, отец мой с красными флагами ходит, читает лекции, даже почему-то членам чрезвычайки он часто лекции читал — о победе над силами природы, по технике. И вот когда одни из белых вошли (деникинцы, кажется, третий, что ли, их приход туда, не знаю какой), — входят к нам два офицера и говорят: «Здесь живет профессор Николай Борисович Делоне?» — «Здесь». — «Ну, пошли». — «Что такое?» — «Ну, вы себя так вели при предыдущих большевиках, что вы теперь у нас почувствуете, что это значит». И повели его в контрразведку — в то место, где они просто пытали людей, белые.

Ну, мама моя в ужасе просто. Наконец, она вспомнила, что главным начальником у белых в Киеве является некий генерал Драгомиров Абрам Михайлович (это сын того Драгомирова, который завоевывал Среднюю Азию в свое время — неглупый человек, по-видимому, и этот), а что его жена — это просто некая, кажется, Варенька Половцева, ее товарка по Смольному институту, по классу. Она надела лучшее платье, с большим трудом добилась, чтобы пустили во дворец к Драгомирову, нашла эту Вареньку Половцеву. И вот обе дамы плачут друг у друга на плече — входит Драгомиров, спрашивает (*испуганно*): «Варенька, что это с тобой?» Она говорит: «Да вот... тут Наденька пришла... это ужасно... ее мужа...» — «Какого мужа?» — «А ее муж — он профессор Политехнического института». — «А фамилия?» — «Делоне». — «А, из французов. Так что с ним?» — «Ну, знаешь, увели куда...» — «Ах, знаю куда. Антуанат! — это офицер для поручения. — Пойди сюда! Вот тебе моя карточка. Ты знаешь, куда идти, — (значит, в контрразведку). — Приведи мне сюда профессора Делоне вечером, я его приглашаю на ужин». Является папа домой — уже раза два его стукнули, но еще никак не пытали — в каком-то весьма плачевном состоянии. Моется, одевается хорошо, и идут на ужин к Драгомирову. Что же делать? Ну, а что иначе-то делать? Стоит ли мучиться из-за ничего? Вот такой случай был, и разные другие в этом роде случаи со всех сторон.

В.Д.: Но не с вами лично, а с вашими родственниками?

Б.Д.: Вот это было с отцом. Со мной лично в Гражданскую войну ничего не было.

В.Д.: Но вы были тогда еще юнцом все-таки?

Б.Д.: Ну, каким юнцом, все-таки мне было...

В.Д.: Ах, нет, двадцать девять лет.

Б.Д.: Двадцать девять лет, двадцать девять лет. Ну, не со всеми было что-нибудь, далеко не со всеми, далеко не со всеми.

Молодая академия

Я помню, еще тогда я странную вещь проявил — кроме вот этих планеров, еще странную энергию. Я решил, что до того как-то в течение всей этой Гражданской войны все общественные такие нарушились связи, что устроить дома, у себя просто, в столовой, как это я называл, Молодую академию, именно собрать в Киеве по каждой науке лучшего представителя: лучшего математика профессора Граве, лучшего механика такого-то, лучшего геометра Котельникова, лучшего физика — и доходя до представителей гуманитарных наук (всего собралось, кажется, пятнадцать человек, и вышло все это: я попал в точку, то есть всем хотелось какого-то опять сближения) — и чтобы каждый рассказал просто самые принципиальные вещи из своей науки.

В частности, был приглашен даже профессор Духовной академии — знаменитый Экземплярский. А у нас дома тогда один ассистент моего отца жил, некий Никольский, сын сельского священника. Когда он увидел этого Экземплярского, он говорит: «Я думал, Экземплярский — это только в теории, а что его нормально

и нет на свете, а вот он тут просто сидит». (*Дувакин смеется.*)

А мой один аспирант киевский, Тартаковский... Когда Граве начал говорить, что «и вот Кантор» — знаменитый математик — «такое-то множество обозначил буквой «алёф» (это первая буква древнееврейского алфавита), то он говорит: «Может, я только неверно произношу», а Тартаковский как еврей и знавший немножко древнееврейский сказал: «Да, (*гортанно*) „алёф“!», но так страшно, что Экземплярский начал под столом креститься. (*Оба смеются.*) Вот, например, что было.

Но это как-то было признано неплохим, то есть никто нас не упрекал за это.

В.Д.: А это при ком было, не помните?

Б.Д.: При большевиках. Потому что на этих заседаниях — это как раз перед моим окончательным уездом, это уже после 20-го года — один комиссар сидел большевистский — просто комиссар, интересовался науками.

Ну, вот что я могу сказать о тех временах.

В.Д.: И вы к этому времени уже, так сказать, как ученый сформировались?

Б.Д.: Абсолютно! Уже двадцати семи лет я был крупнейшим, так сказать, математиком — уже, я рано очень начал.

В.Д.: Ну, математики всегда рано.

Б.Д.: Математики рано начинают. Мой ученик Шафаревич — он кончил мехмат шестнадцати лет, чего вам еще? Так что математики рано — как и музыканты.

В.Д.: Так. Ну, вот я хотел (или вы здесь не хотите, это дальше рассказать?) — вот насчет этой героини Сопровитления, вашей кузины...

Б.Д.: Это позже было.

В.Д.: Позже?

Б.Д.: Позже, позже.

В.Д.: Так. Сейчас, значит, в основном кончается ваша...

Б.Д.: ...довоенная, так сказать...

В.Д.: ...ваша довоенная биография. Ну, тут один маленький перерывчик сделаем, все равно тут пленка-то уже заканчивается, сорок пять минут есть. (*Перерыв в записи.*)

Спасение от расстрела

В.Д.: Борис Николаевич, все-таки Гражданская война, хоть, вы говорите, вы лично не пострадали, но она вас все-таки коснулась. Значит, красные тронули папу...

Б.Д.: Нет, белые тронули папу.

В.Д.: Белые тронули папу, а мама, может, пострадала при красных?

Б.Д.: Нет, мама не страдала совсем.

В.Д.: Но что-нибудь в этом плане было?

Б.Д.: Ну, пожалуй, вам расскажу.

В.Д.: Ну, расскажите.

Б.Д.: Даже мне несколько страшно вспоминать, а тогда не было страшно.

В.Д.: Да? Ну, расскажите.

Б.Д.: Кроме мамы с папой, с которыми я вместе жил, и моей сестры, которая много-много меня моложе, у меня еще брат был, на год меня моложе (который умер года два назад теперь, известный биолог), но он тогда с нами не жил. И еще был третий брат, который от всех нас совсем отличался. Он был просто военный, кончил когда-то юнкерское училище, перед самой Первой мировой войной...

В.Д.: А, ну, значит, он уже попал в офицеры.

Б.Д.: ...был офицером, в конце Первой мировой войны дослужился до подполковника. Он был очень неспособным к наукам. И вообще мы со вторым братом были очень дружны, а с ним — нет, и даже его называли (это нехорошо — так относиться к брату жестоко) «лакмусовой бумажкой на мерзость», — то есть все противное ему нравилось: например, всякие оперы грубые и так далее. Вот. Он, значит, был военным, и, конечно, он был настроения... Я был распропагандирован папой тоже, ровно как папа, распропагандирован, совершенно. Второй брат — нет, но он был скорей убеждений таких... ну, кто это, кто власти не любит?..

В.Д.: Анархических.

Б.Д.: ...анархических скорей убеждений. А младший брат — он, очевидно, был просто беляком настоящим в душе, и он и попал в белую армию, но мы это как-то не знали, потому что он был на войне. Мы не знали, где он, и думали, что он убит. И вот, сидя при самом конце каких-то белых в Киеве, на квартире (а мы жили в нижнем этаже дома около самого Владимирского собора, на теперешнем бульваре Шевченко), — вдруг стук — и входит мой третий брат, живой, в полковничьем мундире и так далее. Он, оказывается, просто у Деникина полковником. С точки зрения отца, его надо немедленно выгнать вон; с точки зрения матери, это просто спаситель отечества. В общем, он пробыл один вечер и ушел, и больше мы его никогда не видали. Но из-за этого я чуть-чуть не погиб, очень странным образом. Как раз в ночь после его ухода вошли большевики. Стук ночью в дверь — входят четыре солдата Богунской дивизии, такая была Богунская дивизия...

В.Д.: Это что — красная была дивизия?

Б.Д.: Красная. Богунская дивизия.

...и над ними начальником матрос Балтийского флота, и говорят: «У вас здесь был полковник». А у нас тогда еще доживала свой век некая гувернантка из Парижа мамзель Дабу, которая скверно очень говорила по-русски: «Да ньет! никакой польковник! никакой!»

”

На всякий случай меня этот матрос взял за руку: «Ну, выходи стрелиться!» Это значит — просто на улицу, и прихлопнут из винтовки. Я говорю: «Да я ж не полковник, я даже не похож на него». — «А, — говорят, — ну, а иконы зачем?»

А отец мой был, очень странно, убеждений совсем большевистских, но одновременно верующий, и просто иконы были у нас в каждой комнате. Так ли, сяк ли, они просидели долго, все обыскивали, обыскивали. Мать лежала в постели, рядом с ней, прижавшись, четырнадцатилетняя моя сестра, а мне тогда было уже под тридцать, и, значит, нет-нет меня тащили «стрелиться». Но потом решили: «Да нет, ну, оставайся, ты, конечно, не полковник».

Наконец они заметили в передней, эти обыскивающие, некий такой встроенный в стену шкаф и открыли одну его дверцу. А перед ними на коленях стояла эта француженка и умоляла: «Никакой польковник!» И вдруг из этой дверцы вывалилась большая парижская кукла, которую она же, кажется, и привезла,

которая, когда ее нагибали, моргала глазами. Это им очень понравилось: «Эй, смотри, блядь-то какая! Это да-а-а-а!» (*Дувакин смеется.*) И не открыли второй дверцы. А в это время один из них сам себя увидел в трюмо, в зеркало, и говорит: «А это кто?!» Отец мой говорит: «Да перекрестись, сам себя стрелять хочешь». Наконец они сказали: «Ну, пойдем». А я еще этому матросу сказал: «Все-таки вы распишитесь, что обыскивали всю ночь, а то нас опять будут обыскивать». — «Нечего сказать — расписаться! Из нас никто грамоты не знает. А ну, сам пиши под диктовку». И под его диктовку трясущейся рукой я написал: «Матрос Балтийского флота товарищ Гоголь обыскал», а он подписался: «Гоголь». У меня эта бумажка, к сожалению, куда-то исчезла.

В.Д.: Интересно.

Б.Д.: Но я не знал, что если б они открыли вторую створку этого шкапа, которую им помешала открыть эта кукла, то там висел полный полковничий мундир моего брата, а он удрал в солдатском. Ну, тогда бы они нас тут же перестреляли, не стали бы на улицу выводить. Так что я был, можно сказать, в полсекунде от смерти — и спасла кукла.

В.Д. (*посмеиваясь*): Да, на самом деле это, конечно, очень, так сказать, колоритный случай того времени.

Б.Д.: Колоритный случай, ничего.

В.Д.: И, значит, отца у вас стреляли...

Б.Д.: Белые, белые.

В.Д.: ...белые, а брата — красные...

Б.Д.: Да.

В.Д.: ...и спасла кукла.

Б.Д.: И спасла кукла. Странная вещь была.

Отъезд из Киева

Вот так. Теперь, значит, я перехожу уже к ленинградскому времени. Когда мне минуло тридцать один год, то меня пригласили ехать в Ленинград профессором самым основным университета — я был доцентом Киевского политехнического института — за эти работы по теории чисел. Это пригласили академик Марков знаменитый и академик Успенский.

В.Д.: Это отец теперешнего Маркова...

Б.Д.: Отец теперешнего Маркова, знаменитый.

В.Д.: ...которого я записывал — Андрей Андреевич.

Б.Д.: Он гораздо знаменитее этого, конечно, такой великий математик.

В.Д.: Его отец?

Б.Д.: Да. И этот хороший.

В.Д.: А теперешний — Андрей Андреевич?

Б.Д.: И тот — Андрей Андреевич.

В.Д.: Вот Андрея Андреевича младшего я записал.

Б.Д.: Вот. Интересный человек очень.

В.Д.: Да.



Б.Н. Делоне в Германии. 1920-е гг.

Б.Д.: Вот. Первый раз меня попросили просто приехать, чтобы меня лично посмотреть, эти академики. Я поехал перед окончательным уж переездом навсегда. Уж я был ими там сделан профессором, но вот надо было перед этим еще посмотреть меня.

Я поехал туда, по-моему, в декабре 21-го года. Из Киева в Москву я ехал десять дней в теплушке. Навстречу нам все время ехали с Волги крестьяне за зерном на Украину, все почти или большой процент — в сыпном тифу.

В.Д.: Это уже 21-й?

Б.Д.: 21-й, декабрь 21-го года.

В.Д.: Да, это страшное время.

Б.Д.: Я готовился к этой поездке год и скопил драгоценный этот... валюту, а именно — два пуда белой муки в мешке, на маленьких саночках вместо портмоне. Приехал в Москву за десять дней. Ну, тут было много трудного и сложного. А в Москве у меня знакомых только и было (у меня все знакомые в Петербурге были, а не в Москве): Шмидт — в Кремле, Отто Юльевич, он тогда в Кремле жил, и такой студент Леонтович, который сейчас физик, академик.

В.Д.: Я его тоже записал.

Б.Д.: Больше у меня знакомых не было. Ну, я двинулся к Леонтовичу.

” Леонтович тогда жил у очень богатых людей Шустовых, которые владели коньяком таким, на всю Россию известным. Но у них в квартире температура была плюс два, воды было некоторый небольшой остаток в ванной, водопровод не действовал, электричества не было.

Я сейчас же, чтоб освободиться от этих двух пудов валюты, продал этот мешок за два миллиона рублей тогдашних — двадцать стотысячных билетов мне дали — в самый первый ресторан нэпа.

В.Д.: И надо было сразу платить.

Б.Д.: И с этими деньгами решил: «Ну, теперь уж я и покушаю, и всё». Оказалось, куска хлеба купить нельзя на миллионы. А так как Шмидт мне сказал — большие мы с ним были приятели, — что... *(Перерыв в записи.)*

Об академии наук и начале русской математики

Б.Д.: Откуда пошла вообще русская математика?

В.Д.: Вот-вот-вот.

Б.Д.: Петр Великий под са-а-амый последний год жизни все стремился организовать Академию наук у нас. А вообще об организации Академии он задолго до того уже думал и даже говорил об этом с Лейбницем и с разными другими людьми. И он подписал указ, по-моему, — я, кажется, не ошибаюсь, — то ли в феврале, то ли в апреле...

В.Д.: ...25-го года.

Б.Д.: ...24-го года, почему вот сейчас будет двести пятьдесят летие. 24-го года. А затем умер. И уже после его смерти была организована Академия. Лейбниц уже тогда умер. Сыграл в ее организации большую роль такой философ, лейбницист немецкий, Вольф — в выборе академиков. Тут надо сказать, и Петр Великий очень любил математику, очень ее ценил как важную для морского и военного дела науку и недурно знал, поэтому он перед смертью настаивал, что, в частности, сразу математику наладить хорошо в Академии. Вольфу удалось сразу привлечь в Академию из Базеля...

Кто начали новую математику, новую науку? Окончательно — Ньютон и Лейбниц гениальный. Разных предшественников имели: Роберваль, Гюйгенс, Ферма, Торричелли — это все анализ бесконечно малых, и окончательно их оформили Ньютон и Лейбниц. А после Ньютона и Лейбница, как ни странно, перекочевал центр нового анализа в маленький швейцарский городок Базель. Там оказались талантливейшие люди — семья Бернулли, с которыми был в связи Эйлер молодой, тогда еще восемнадцатилетний. И вот удалось двух из Бернулли, Даниила и Николая, пригласить к нам в Академию. Это были уже выдающиеся ученые, одни из главных творцов в то время в этом новом анализе. А они пригласили Эйлера. Эйлер уже двадцати лет попал к нам в Академию. Ну, а Эйлер — это был просто мировой ученый невероятного трудолюбия, инициативы и глубины. Он дожил до восьмидесяти с чем-то лет. Сначала, с двадцати лет, четырнадцать лет был академиком Петербургской Академии наук, затем во время междоусобицы у нас переехал к Фридриху II — был такой солдафон, назывался Фридрих Великий, просто солдат, поклонник Вольтера почему-то (при чем тут Вольтер, я не понимаю), — так вот к Фридриху переехал в Берлин, где тот основывал Академию, уже после нашей.

В.Д.: Значит, в Петербурге Академия была основана раньше?

Б.Д.: Как Академия — да, а как какое-то сообщество ученых — прежде в Берлине, но это была не Академия, а вот Фридрих... Там был Мопертюи, такой француз — Фридрих был поклонник французов, — был президентом, а Эйлер долго был таким... вместо президента, а потом Мопертюи умер — был Эйлер вместо президента. И он там прожил двадцать пять лет, а потом опять у нас шестнадцать лет. Так что он у нас тридцать один год в Академии был, а в Германии — двадцать пять лет.

Эйлер хорошо выучил русский. Энергия его была такова, что он за свою жизнь написал более девяти сот научных разных мемуаров. И сейчас вот издается Полное собрание сочинений Эйлера, — не нами, мы не могли его поднять (теперь бы могли, между прочим, но, когда начали его издавать, не могли), а оно издается в Швейцарии.

В.Д.: И вот Эйлер и обучал наших новых математиков?

Б.Д.: Эйлер — вот он и создал школу математики в России, в Академии. Долгое, бесконечное число лет был академиком, дал необычайно важные результаты. Причем сейчас его Полное собрание сочинений рассчитано на семьдесят два таких толстейших тома. Шестьдесят два уже напечатаны, в Швейцарии. Мы Швейцарии идем навстречу, наша Академия все материалы, все рукописи давала, и их вернули, их вернули.

В.Д.: А почему Швейцария?

Б.Д.: Потому что она, Швейцария, богата в этом смысле давно была. Мы теперь могли бы, теперь мы богаты — тогда мы не могли, скажем, в 20-х, в 30-х.

В.Д.: А когда они начали это издавать?

Б.Д.: Году в 20-м, давно-давно, давно-давно начали издавать.

В.Д.: А Ломоносов имел какое-то к этому отношение, нет?

Б.Д.: Ломоносов одновременно с Эйлером был в Академии, одновременно. Причем, когда с Ломоносовым... Ломоносов очень резкий был человек, тоже гениальный был человек, гений настоящий, но, конечно, слишком рано для России такой гений, у нас его совсем не понимали: его считали стихотворцем, а он был ученый крупнейший.

В.Д.: Громче, громче.

Б.Д.: Это гораздо позже уже поняли, что он был крупнейшим ученым, гораздо позже, уже в 900-х годах. Так Ломоносов — с ним был, например, такой случай, что Эйлера спросили как такого всемирно известного, что он думает о таких-то работах Ломоносова, считая, что он их выругает, и это будет на руку академическому начальству, тогда можно будет прижать Ломоносова, а он заявил, что он подробно познакомился, что это просто гениальные вещи, так что посадил наших начальников, а тогда начальники у нас были такие, что только держись.

А потом были два очень крупных имени, уже гораздо позже: Остроградский и Буняковский. Остроградский — это первый из русских математиков, который равен был самому какому-нибудь любому крупному французскому математику того времени.

В.Д.: Это уже какие годы?

Б.Д.: Это уже 1800-е годы, самое начало. А потом в Казани появился гениальный человек, Лобачевский, ну, совершенно не понятый нашими. Буняковский и Остроградский просто над ним издевались, а наиболее над ним издевался Чернышевский. И он был по-своему прав: тогда было важнее освобождение крестьян, чем обоснование геометрии. Вот. Потом был Ломоносов, но он в стороне стоял, и Буняковский-академик и Остроградский-академик не поняли Ломоносова, они его на смех подняли. Потом у нас появился Чебышев. Ну, это крупнейшая фигура, сделавшая действительно первокласснейшие вещи, в частности по теории чисел. А Чебышев имел замечательную школу: Коркин, Золотарев, Марков-старший, Вороной,

Ляпунов, Стеклов.

В.Д.: Стеклов уже.

Б.Д.: Да, Стеклов. Стеклов самый слабый из них все-таки был, из этой плеяды. Ну, нет, хотя почему? Нет-нет — это подряд тончайшие математики, весьма оригинального направления все. Например, Коркин и Золотарев, например, Марков-старший, например, Ляпунов — это очень оригинального направления, глубочайшие творцы, которые создали так называемую петербургскую школу, но она эйлеровского направления. Главная их идея была такая, что лучшие работы в математике получаются так: берут какой-нибудь практически важный трудный вопрос, нуждающийся в математике, и потом смотрят, что надо новое создать в математике, чтоб такие вопросы решать, то есть исходя всегда от конкретного вопроса — вот это была идея Эйлера и в особенности Чебышева, в особенности — Чебышева.

В.Д.: А Чебышев — это Петербургский университет и Академия.

Б.Д.: Это самый главный петербургский математик после Эйлера. Он — Петербургский университет, Петербургская Академия. И все эти были.

В.Д.: Академия середины века?

Б.Д.: Ну, его самые лучшие работы — в пятидесятых годах, самые его знаменитые работы. А умер он уже перед... кажется, в 96-м или что-то в 94-м году. Так что вот и Чебышев.

И последующая петербургская, а потом ленинградская математика — это была, так сказать, школа Чебышева.

Московская математическая школа

В.Д.: А москвичи были...

Б.Д.: А москвичи имели совсем слабенькую математику — до Егорова, который уже начал хорошие работы делать, и до Лузина, который просто поехал во Францию, научился французским премудростям... Тогда в Париже главные действовали Лебег, Борель и Бер — такие очень крупные математики.

В.Д.: А Пуанкаре?

Б.Д.: Несколько раньше. И привез эту мудрость сюда, и начал ее дальше глубоко раскапывать. Это Лузин. Лузин перенес на московскую...

В.Д.: ...почву...

Б.Д.: ...почву, землю самую глубину французской мудрости — так сказать, европейской мудрости.

В.Д.: И чебышевско-петербургской?

Б.Д.: Нет-нет-нет, это совсем противоположные вещи.

В.Д.: Совсем другое.

Б.Д.: Противоположные вещи.

В.Д.: Ага, хорошо.

Б.Д.: То очень конкретно, а это очень абстрактно и общо обыкновенно.

Ну, и потом начали у Лузина появляться ученики: вот Александров Павел Сергеевич, Колмогоров и другие — ну, Меньшов и так далее. Это уже крупные математики московского направления.

В.Д.: Вот расскажите, пожалуйста, о вашем личном, так сказать, знакомстве с Егоровым, Лузиным.

Б.Д.: Егорова я мало знал.

”

Лузин — его хотели, как и Егорова, тоже посадить одно время. За что? Он имел странный характер: он подлизывался даже к своей домработнице, даже к своей кошке, и в особенности подлизывался к любому заграничному ученому. Ему казалось: все, что там, — хорошо, все, что у нас, только тогда хорошо, когда оно похоже на то, что там.

И потом, как говорят, давал иногда нечестные отзывы, но я не уверен в этом. Поэтому «егоровщина» была — Егорова посадили, он умер, а тут началась «лузинщина», и все мы его проклинали в официальном порядке, этого Лузина. Это его был личный характер, а ученый он был крупнейший — крупнейший и глубочайший ученый был. Несколько односторонний, такой очень абстрактный, очень далекий от петербургской [школы]. Поэтому, когда были первые советские выборы в Академию (это январь 29-го года)... вот я на них был выбран, Павел Сергеевич на них был выбран...

В.Д.: Вы — в членкоры?

Б.Д.: Меня выбрали в академики, а я отказался, в письменной форме, что я себя не считаю достаточно хорошим; ну, тогда — в членкоры, конечно. Ленинград выдвинул трех человек в академики: Виноградова Ивана Матвеевича, такого сына священника, чисто русского — дальше некуда, меня и Гюнтера, крупного математика. Гюнтера ошельмовали по линии политической, и поэтому он не мог пройти, Виноградов прошел, а я отказался. А тогда у нас один только академик оставался, все остальные умерли, из старых, царских, — Успенский, и вот он должен был решать все. А Успенский настоял, чтоб выбрали в академики харьковца Бернштейна, крупнейший математик был. А Алексей Николаевич Крылов, такой адмирал и так далее, который отчаянное влияние имел в Академии всегда, настоял, чтоб выбрали некоего киевского Николая Митрофановича Крылова, слабенького математика. А у Николая Митрофановича Крылова был зато изумительный ученик — вот теперешний наш Боголюбов, который уже шестнадцати лет имел интереснейшие работы, напечатанные Французской Академией.



С профессором Успенским. Вторая справа (стоит) М.Г. фон Баннер-Фогт, супруга Б.Н. Делоне. Ленинград, около 1930 г.

В.Д.: А Колмогоров — это уже ученик Павла Сергеевича?

Б.Д.: Нет, ученик Лузина.

В.Д.: Лузина?

Б.Д.: Лузина, Лузина.

В.Д.: А что такое... какая-то история, что как раз Колмогоров...

Б.Д.: Морду бить?

В.Д.: Да, да.

Б.Д.: А разве это можно рассказывать?

В.Д.: Можно, конечно, надо.

Б.Д.: Да. Вот. Лузин. Лузин был очень влиятельным... Вот. Когда были первые советские выборы, то там трех выдвинули. Выбрали из них Виноградова: я отказался, а Гюнтера по политической линии зашельмовали.

В.Д.: Виноградов и сейчас существует?

Б.Д.: Да-а-а!

В.Д.: Директор Института Стеклова?

Б.Д.: Да-да, самый главный человек.

В.Д.: Математик.

Б.Д.: Да. Дважды Герой Социалистического Труда, семь орденов Ленина, самый главный человек. Нельзя сказать, что плохой, но...

Да, ну, так. Значит, так. А Москва выдвинула только Лузина.

” Но ленинградцы эту лужинскую французскую математику даже математикой не считали — считали философией какой-то, и его избрали в пику москвичам по философии, вместе с Дебориным*.

* Известно, что Н.Н. Лузина избрали в Академию наук по философии еще и для того, чтобы под этим предлогом отвести кандидатуру философа-немарксиста Густава Густавовича Шпета (см.: Перченко Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе» // «Звенья. Исторический альманах». Вып.1. М.: «Прогресс», «Феникс», «Athenium», 1991. С. 182-183).

И вот по философии были выбраны некий Деборин и Лузин.

В.Д.: Ну, Деборин известный был — глава марксистов, так сказать...

Б.Д.: Да, ну, очень известный...

В.Д.: Потом он был объявлен буржуазным идеалистом, а вообще наши философы делились на «деборинцев» и «сарабьяновцев»*.

* Абрам Моисеевич Деборин (наст. фамилия Иоффе, 1881-1963) возглавлял философскую группу так называемых «диалектиков». Владимир Николаевич Сарабьянов (1886-1952), наряду с Л.И. Аксельрод, И.И. Скворцовым-Степановым, А.К. Тимирязевым и др., был одним из лидеров противоборствующей с «диалектиками» группы «механицистов» («механистов»). В 1930-е гг. обе группы были обвинены в идеализме и разгромлены (см. об этом: Яхот И. Подавление философии в СССР (20-30-е годы). New York: Chaldize Publication, 1981. Книга была полностью перепечатана в 9-м и 10-м номерах за 1991 год журналом «Вопросы философии»).

Б.Д.: Ну, наверно, Деборин буржуазный идеалист и был. Теперь так. И Лузин долго потом, много лет, через Алексея Николаевича Крылова добивался перевода на математику. Его наконец перевели, то есть что академик — математик. А Павел Сергеевич был избран член-корреспондентом, ну, и я был избран, и Чеботарев был избран. Потом был избран член-корреспондентом — это самое-самое начало советского периода Академии — еще этот...

В.Д.: Это уже после двухсотлетия? 25-й год...

Б.Д.: Двухсотлетие никак особенно не отмечалось — отмечалось двестидвадцатилетие.

В.Д.: Не-е-ет, как же это.

Б.Д.: Ну, очень слабо отмечалось, очень слабо. Да, немножко было, но это так. А двестидвадцатилетие...

В.Д.: А двести двадцать — это после войны уже.

Б.Д.: О-о-о! То отмечалось, то отмечалось.

” И вот между школой Эйлера-Чебышева петербургской и школой Лузина московской — собственно, французской, парижской — все время был такой антагонизм, что те этих не понимали, эти — этих, пока Академию не перевели в Москву.

Когда в 34-м или 35-м, в начале, перевели Академию в Москву, мы начали сближаться, сближаться, и вот из этого сближения обеих школ и получилось, то, что мы сейчас называем «советская математика».

В.Д.: Значит, она возникла из двух источников.

Б.Д.: Из двух источников: одного — совсем старого, Эйлер-Чебышев, ведь имевшего два столетия...

В.Д.: Моя тема — формирование советской науки.

Б.Д.: ...а другая — совсем недавняя, это в 20-х годах Лузин начал действовать.

В.Д.: Вот он как раз преподавал в 25—26-м.

Б.Д.: Это совсем недавнее, это московское течение, но оно оказалось очень важным, потому что оно зато исправило в ленинградском некую одностороннюю направленность на все прикладное, а что не прикладное — вообще мы им не интересуемся. А московская — наоборот, совсем не прикладное направление, совсем абстрактное. Но в математике хорошо идет, когда они вместе развиваются и одно другое оплодотворяет. Вот это сейчас советская математика. Ну, конечно, осторожно говоря, надо сказать, что были кое-какие математики в Казани, после Лобачевского, после его смерти, были в Киеве, ну, может, в Тбилиси немножко, но это все были и из центра туда переехавшие, из Петербурга. Так что вот все это вместе — вот это создало советскую математику такую, величайшую математику. *(Перерыв в записи.)*

В.Д.: Борис Николаевич, вот меня интересует и я вот знаю понаслышке главным образом московскую школу математиков, а вообще в формировании советской математики, во-первых, удельный вес этой московской и петербургской и соотношение советской математики с западноевропейской: что мы — среди первых, или, наоборот, в хвосте, или в середине, я, так сказать, хотел бы это зафиксировать.

Б.Д.: Я вам уже говорил об удельном весе между собой петербургской и московской, а вот сравнение с зарубежной, как сейчас выражаются, математикой.

В.Д.: Да, да.

Б.Д.: Вот Колмогоров, все-таки умный очень человек, в свое время продуманно ответил на этот вопрос так: «Ну, что же говорить, сейчас, очевидно, первое место просто мы делим с Соединенными Штатами». Это было лет пятнадцать тому назад, и, по-моему, и сейчас так же. Но надо ж иметь в виду, что кто математики, вообще ученые в Соединенных Штатах? Это большей частью европейцы — разные европейцы, ну, так сказать, привлеченные туда сознательно, ну, как выражаются, купленные. Уж не говорю, что в гитлеровские времена любой человек, у которого просто жена еврейка или даже меньше, уже уезжал в Америку, по возможности. А у нас всё свои, так что вот в этом разница.

В.Д.: Эйнштейн в Америке умер, да?

Б.Д.: Эйнштейн в Америке умер, Эйнштейн — в Америке. Скажем, Герман Вейль, крупный геометр геттингенский, умер в Америке. Почему? Он был просто немец, но у него жена была еврейка, и он, значит, не мог уже остаться в Геттингене. Так что вот тут именно весь этот еврейский вопрос сделал, что многие очень переехали в Америку из Европы. Так что Америка — это, собственно, не американская математика, а математика в Америке, она в основном европейская математика.

В.Д.: Ну, а в европейских, значит, странах кто же был: французы? немцы?

Б.Д.: Немцы, из Германии особенно много выехало, из Франции порядочно, из Англии порядочно, и даже русские кое-кто.

В.Д.: Значит, последовательно было сначала...

Б.Д.: А последовательно в истории математики — новой математики, уже анализа и так далее, — ну, конечно, вначале самый сильный анализ был во Франции: в 1700-е годы, в конце, и в 1800-е, конечно, самая сильная математика была в Париже. А потом, с 70-го, наверно, года, окончательно самая сильная

сделалась в Германии, но не в Берлине, а в Геттингене — это такой центр математики был. Я сам был дважды в Геттингене: один раз — в 12-м году, студентом еще, а другой раз — в 28-м году. Меня пригласили прочесть спецкурс в Гамбурге и спецкурс в Берлине, а между этим я был в Геттингене. Это, конечно, был главный центр. А потом главным центром сделались мы и Америка, это точно так. И сейчас опять очень подымается математика во Франции — несколько односторонне, но очень подымается.

В.Д.: А мы, значит, сейчас в области теоретической математики *не* отстаем?

Б.Д.: Нет-нет, что вы! Что вы! Главное, у нас математика тем хороша, что она очень разносторонняя, по всем частям у нас первоклассные вещи делаются. Скажем, во Франции делаются первоклассные вещи, но в некотором специальном направлении — у нас по всем частям первоклассные вещи делаются.

В.Д.: Вот это как раз вы уже сказали, но теперь придется повторить — я спрашивал вас относительно некоторых наших математиков, как вы расцениваете и Ивана Георгиевича Петровского...

Б.Д.: Нет, ну, что? Кто у нас крупнейший математик? Ну, это от вкуса зависит. С моей точки зрения — Колмогоров, Понтрягин, Соболев, из живущих.

В.Д.: Понтрягин — учитель Колмогорова, нет?

Б.Д.: Нет, нет.

В.Д.: Вместе?

Б.Д.: Никакого отношения нет.

В.Д.: Я его видел, он у нас бывал как студент.

Б.Д.: Колмогоров, Понтрягин, ну, Соболев, может быть. Ну, Виноградов в некотором смысле: очень узко, но в своей области — да, величайший человек. Ну, много есть, очень трудно называть. Ну, Петровский был крупный математик, да. Ну, Павел Сергеевич довольно крупный математик. Нет, у нас очень много очень крупных математиков, первоклассных.

В.Д.: В этом ряду сам Иван Георгиевич где?

Б.Д.: В этом ряду он не самый крупный, нет, нет. Конечно, Колмогоров крупнее, и Понтрягин крупнее, конечно.

В.Д.: Понтрягин человек очень неприятный.

Б.Д.: Теперь. Он раньше был очень приятный.

В.Д.: Он был товарищем моего брата, я его помню как студента, и, так, у меня личное представление о нем есть.

Конфликт Н.Н. Лузина и А.Н. Колмогорова

Расскажите, пожалуйста, что там случилось с Лузиным — между ним и Колмогоровым?

Б.Д. (смеясь): Знаете, некоторые очень добиваются, чтоб стать *именно* академиком, а не член-корреспондентом. По-моему, это довольно бессмысленно, потому что это лишние двести пятьдесят рублей — больше ничего. Славы не больше, потому что у нас член-корреспонденты некоторые есть лучше самых хороших академиков.

В.Д.: Гельфанд крупный?

Б.Д.: Очень крупный. Он член-корреспондент, и такой всегда и будет. Шафаревич — член-корреспондент, такой всегда и будет.

В.Д.: Ну, это уж по побочным причинам.

Б.Д.: Да, по побочным причинам. А некоторые очень этого добиваются — неизвестно почему. Этого страшно добивался Павел Сергеевич. И очень долго его всё не переводили: всё член-корреспондент, член-корреспондент, член-корреспондент — много-много лет. А его приятель — Колмогоров, личный приятель, будем говорить — приятель. И вот как-то раз наконец (еще Лузин был жив) Лузин сказал Колмогорову: «Ну, в этот раз я поддержу перевод Павла Сергеевича в академики, поддержу». Затем перед самыми уже выборами у нас в институте в коридоре подходит Колмогоров к Лузину и говорит: «Ну, что ж, вы, значит, поддерживаете?» А тот сделал вид, что он даже не понимает, о чем он говорит: «Не знаю, о чем вы говорите?» Тот его и трахнул по лицу. А это старика — и своего учителя.

В.Д.: Да, это все-таки, конечно, нехорошо. Но все-таки Лузин был очень такой гибкий, хитрый?



Николай Николаевич Лузин

Б.Д.: Да нельзя сказать — хитрый, просто у него был странный характер. Нет, не хитрый, просто странный характер.

В.Д.: Значит, это из-за...

Б.Д.: Ну, психика такая.

В.Д.: ...из-за Павла Сергеевича вышло вроде.

Б.Д.: Из-за Павла Сергеевича. И его все-таки не избрали, а пото-о-ом уже избрали. То есть не перевели в академики.

В.Д.: Ага.

Б.Д.: А некоторые переводились в академики просто: просто в Сибирь шли, а в Сибири сразу на ступеньку повышали.

Но ведь в чем дело? Вот вам, может, будет интересно. Вот я случайно имею эти числа, или, как вы выражаетесь, цифры, но цифр у нас только девять, десять то есть, включая ноль, — числа: с 43-го по 75-й год ВАК, это Высшая аттестационная комиссия...

В.Д.: Знаю.

Б.Д.: ...некое довольно сомнительное учреждение, но все-таки важное; так вот этот ВАК — он утвердил в тот период — это, значит, за тридцать почти лет — триста двадцать пять тысяч кандидатов.

В.Д. (обескураженно): Триста двадцать пять тысяч?

Б.Д.: Триста двадцать пять тысяч кандидатов. Это не математики, по всем наукам. Тридцать четыре тысячи — докторов. А всех членов Академии, то есть корреспондентов и академиков вместе, тогда было четыреста.

В.Д.: Это за какой срок?

Б.Д.: Ну, скажем, в 71-м году. С 34-го по 71-й, за тридцать с лишним лет. Что думает каждый ученый? Что, пока он даже не кандидат, так он, так сказать, вне классификации даже — ну, и получает сто рублей. Как только он кандидат...

В.Д.: ...он получает триста.

Б.Д.: Нет, нет.

В.Д.: Сто двадцать.

Б.Д.: Если он в исследовательском институте — сто восемьдесят. Ну, а если он доцент, кроме того (то есть в исследовательском старший сотрудник), то триста.

В.Д.: Да.

Б.Д.: Но это уж по должности, а не по званию. А доктор получает четыреста, а доктор, заведующий кафедрой, — пятьсот. Вот вам всё. Академик получает пятьсот за то, что он академик просто, член-корреспондент получает двести пятьдесят за то, что он член-корреспондент, — без работы, называется: за звание.

В.Д.: Да.

Б.Д.: Ну так вот.

”

Каждый доктор думает, и это верно, что он в десять раз лучше кандидата, потому что тех триста двадцать, а их тридцать четыре тысячи — в десять раз лучше. Каждый член Академии думает... там — четыреста, а тут... это, значит... что он в восемьдесят раз лучше доктора. И, наконец, один Келдыш думает, что он в пятьсот раз лучше всех членов Академии.

(Оба смеются.) И надо сказать, что, когда избирают, так это главное чувство, что вот я не просто доктор,

а в восемьдесят раз лучше среднего доктора.

В.Д.: Да, ну, не знаю, в гуманитарии, вообще, с докторами просто настолько мрачно, что...

Б.Д.: Вот такая штука, такая штука, да. Ну, вот я вам, кажется, все это рассказал. Теперь совсем о другом — опять о всяких таких воспоминаниях жизни.

В.Д.: Да-да. Нет, мне только интересно — вы не сказали ничего, никаких личных воспоминаний о этих людях-математиках — ну, кроме анекдотических, как тот же Лузин, тот же Павел Александрович...

Об учителях и коллегах

Б.Д.: Ну, пожалуйста. В Киеве кто были моими учителями? Профессор Граве — это истинный член, так сказать, петербургской школы, переехавший из Петербурга в Киев профессор. Он одну имел хорошую работу в петербургский период, а в Киеве он ничего особенного, но чрезвычайно учен был, влиятелен необыкновенно. Очень талантливый человек, знал хорошо всю современную такую математику. И он как бы нес культуру петербургской школы в провинцию — в Киев. А вторым моим учителем был Ермаков. Это был самородок, это был из белорусских крестьян. Он единственный из киевских математиков был член-корреспондент Академии, а Граве не был. Он был талантливее Граве, конечно, но менее учен гораздо, гораздо менее учен.

В.Д.: Ну, а вот жизненно, кроме... долго очень мы уж тогда не будем на них останавливаться, а вот с теми, с кем вы работали, так сказать, уже умерших. О живых людях, конечно, не будем говорить, чтобы, так сказать, не подвергать риску их репутацию, если вы что-нибудь нехорошее скажете, так сказать, смешное, вот, но вот, так сказать, рассказать о тех, кого вы встречали из математиков лично.

Б.Д.: Нет, ну вот, значит, о Киеве больше не об ком говорить. А! нет, пожалуй, еще. Котельников. Очень скромный человек, геометр такой казанский, профессорствующий в Киеве. Это отец теперешнего академика, вице-президента Академии Котельникова, тоже милейшего человека. Котельников Александр Петрович. Это хороший геометр был. Очень скромный, милый человек. Вот, собственно, все, что я могу.

В.Д.: Ну, хорошо.

Б.Д.: Там еще был интересный человек — профессор анализа Букреев, ничего особенного, хорошо читал лекции, который дожил до ста трех лет.

В.Д.: Ста трех лет?

Б.Д.: Ста трех лет. И когда было еще девяностолетие, то я специально туда ездил, конечно, как старый его ученик. И мы ему все речи говорили, но у нас было рассчитано при помощи врачей, что не дольше двух часов его мучить. Думали, он совсем сник. А он выступил с большою речью ответной — дай-то бог! А когда я ездил — ему было сто лет, он пережил грипп, он уже совсем плохой был, слабый был. Букреев.

Ну, еще там был странный такой — Пфейфер, скучный-скучный.

В.Д.: Ну, это бог с ним тогда, если он скучный.

Б.Д.: Да. Теперь, в Ленинграде. Ну, кто ж там были? Когда я приехал, кто там были профессорами мехмата? Был Успенский, этот академик, как раз ушел из профессоров и остался только в Академии. Это довольно крупный математик, учитель Виноградова и Венкова — вот это его два ученика.

Теперь, затем кто там был?

”

Гюнтер. Это очень крупный аналит, очень крупный аналит, несколько скучноватый человек. Об нем такой анекдот, что он очень скверно лекции читал, и, значит, пишет, пишет все на доске: «Да-с, да-с, вот еще-с, вот еще-с» (он Дерптский университет кончал), а потом останавливается — говорит: «Ну, сотрем для ясности».

(Дувакин смеется.)

Кто там еще был? Безикович был. Это очень талантливый человек. Он потом бежал как белоэмигрант и оказался в Оксфорде, и умер недавно. Но там он, по-моему, ничего особенного уже не сделал, он в юности сделал хорошие вещи.

Потом был Тамаркин, такой толстый-толстый человек, он тоже бежал в Америку. Не знаю, говорят, он крупный, не знаю. Потом там был Фихтенгольц, это такой из Одессы. Вот он написал очень известные учебники (интегрального исчисления, например), которыми сейчас все пользуются. Но это, скорей, был такой эрудит, но не особенный уж он ученый был.

Потом там кто был еще из таких? Ну, еще был жив Марков старый.

В.Д.: Вот старый Андрей Андреевич?

Б.Д.: Старый Марков, да. Я к нему когда пришел первый раз знакомиться лично, то мне открыл этот молодой Марков, тогда еще мальчишка, ему лет восемнадцать было, и я слышу там крики какие-то. А там сидят за столиком жена-старуха Маркова того и какая-то дама. А у Маркова подагра, что ли, была или что-то такое — так дама говорит ему (*сипло*): «Вот надо бы, Андрей Андреевич, вам помолиться — вот тогда будет хорошо, Христос поможет». Этот как ну кричать: «Не люблю я вашего Христа!», и так далее, и так далее.

В.Д.: Андрей Андреевич?

Б.Д.: Да, старый. Я прямо в недоумении... А я стою, и он меня даже не замечает. Тут я говорю: «Андрей Андреевич, вот это я к вам пришел, Делоне. Помните такую работу?» — (*гаркая*) «А! это вы! Ну, пойдем-пойдем».

Вот такой человек был, очень странный был.

В.Д.: Вы, вообще, изображаете хорошо.

Б.Д.: Очень странный был человек, очень странный. Да.

В.Д.: А физиков — вот, скажем, Ландсберга...

Б.Д.: Тоже знал, очень хорошо.

В.Д.: ...вы знавали, да?

Б.Д.: Очень хорошо знал.

В.Д.: Ландсберг — вот это как раз меня очень интересует.

Б.Д.: Он хорошую работу сделал в физике, очень хорошую.

В.Д.: Вот этот курс физики.

Б.Д.: Да, о комбинационном рассеянии замечательную работу сделал.

Мандельштам был самый крупный из них, Мандельштам.

В.Д.: Да, отец теперешнего Мандельштама.

Б.Д.: Да, отец. Мандельштам. Мандельштам и Ландсберг — они вот эту замечательную работу сделали.

В.Д.: Ну, они что — были такие конкретные экспериментаторы-физики?

Б.Д.: Да, экспериментаторы. Но и теоретики, и теоретики. Очень крупные физики были. Вообще, ведь у нас физика слабая была прежде-то. Ну, вот один какой-то Лебедев, да и всё. Всё больше по Краевичу, по учебнику средней школы. А физика начала развиваться, конечно, — Иоффе. Вот я был очень близок с Иоффе — это да.

В.Д.: Ну, а что ж вы о нем не говорите?

Б.Д.: Ну, что ж я особенно?..

В.Д.: Близок был.

Б.Д.: Ну, Иоффе — это организатор нашей физики был, умнейший человек, хороший физик очень, организатор просто нашей физики. Его Физико-технический институт, рядом с Политехническим, — это был центр нашей физики, вот откуда все и пошли: и Курчатов оттуда — это всё от Иоффе, всё ученики Иоффе.

В.Д.: А вы Иоффе знали, да?

Б.Д.: Ну, конечно, хорошо знал. А у Иоффе был такой приятель — крупнейший голландский физик Эренфест. Там самый крупный, в Голландии, был Лоренц, а это Эренфест, но второй после него. А Эренфест женился на русской — он был голландский еврей — и очень сочувствовал Советскому Союзу. Он приезжал несколько раз сюда, и это мы с ним просто дружны были, с этим Эренфестом. Милейший человек был, тончайший физик — и покончил с собой. Ему вдруг показалось, что он перестает понимать то, что говорят физики. Он взял и застрелился. Не в таком уж возрасте.

В.Д.: Страшно.

Б.Д.: Да, вот Иоффе. Иоффе я хорошо знал, это был умнейший человек.

В.Д.: А ваши впечатления от покойного — или вы его не знали? — недавно скончавшегося Петра Александровича Ребиндера?

Б.Д.: Я его не знал.

В.Д.: Не знали?

Б.Д.: Он ведь химик скорее.

В.Д.: Он физико-химик.

Б.Д.: Много раз с ним разговаривал, но не знал. Я вот близко знал очень Тамма, конечно.

В.Д.: О!

Б.Д.: Почему? Ну, просто потому, что он немножко альпинист был и все три свои восхождения со мной сделал, одно — трудное.

Ну, Тамм — это, конечно, очень интересный был человек, очень интересный. Он очень важную одну идею имел, но, к сожалению, ее провел не он, а Юкава, японец. Это идея обменных связей в ядре. Так что когда Тамму было, кажется, семьдесят лет или что-то такое, один из его учеников — не помню, кто, — говорил большую речь ему, и говорил, что вот — даже из Блока, еще откуда-то, — что важно для человека не что он сделал, а что хотел сделать. Так что Тамм — это, так сказать, в некотором смысле неудачник. Если бы он это сделал, он просто крупнейшим мировым бы физиком считался, но ему это не удалось сделать.

В.Д.: А его, так сказать, обскакал какой-то японец?

Б.Д.: Просто-напросто ему не пришло в голову то, что пришло в голову японцу.



Тамм — это был такой человек... Он очень быстро говорил. Он кончил Эдинбургский университет, в Англии, и говорил с необычайной скоростью, поэтому физики выработали единицу скорости речи — один миллитамм, потому что тамм — это слишком большая.

В.Д. (смеется): Миллитамм.

Б.Д.: А в один из наших альпинистских лагерей 36-го года Тамм приехал — ко мне в гости, я был начальником, организатор этого лагеря — и привез величайшего мирового физика Дирака. А Дирак, наоборот, совсем молчал. (*Дувакин смеется.*) Вот этот миллитамм: «тр-р-р-р!», а Дирак молчит, а Дирак молчит. Этого Дирака художница лагеря начала рисовать портрет большой как великого ученого. А в лагере, конечно, Дирака прозвали Дурак: молчит. (*Смеются.*) Вот.

В.Д.: Но, может, как раз он был умнее всех, возможно, да?

Б.Д.: Ну, Дирак-то — это величайший физик всех времен.

В.Д.: Да.

Б.Д.: Дирак, Гейзенберг.

В.Д.: Так. Ну, так вернемся к жизни.

Переезд Академии наук в Москву

Б.Д.: Теперь насчет жизни. Все у меня в Ленинграде шло очень хорошо, все меня любили, я тоже всех любил, все очень мило было. До войны. Ну, в войну... Нет, до 35-го года. В 35-м году в январе пришлось переехать с Академией наук в Москву, причем в обязательном порядке, я не мог не переехать. Я хотел остаться в Ленинграде, потому что у меня все родные ленинградские, вообще я сам родился в Ленинграде, но пришлось переехать в Москву. В Москву долго не хотели переезжать академики, сказали так: «Пусть правительство Академию переводит в Москву, а мы останемся жить в Ленинграде». Тогда Молотов вызвал тогдашнего президента Карпинского, затем... такой был у него непременный секретарь... как это?..

В.Д.: Ольденбург.

Б.Д.:... Ольденбург некий — не знаю, что это такое был за человек. И затем некий Ферсман.

В.Д.: Это геолог?

Б.Д.: Да-да. Это, собственно, не ученый, а такой популяризатор, ничего он в науке особенного не сделал, и такой делец. Но талантливый человек. Ферсман — это, кажется, двоюродный брат моей жены, между прочим.

Так вот. Ну, те мнутя-мнутя, а Ферсман более откровенный, он более умел разговаривать, так сказать, с начальством, говорит: «Да просто у наших академиков там квартиры хорошие». Тогда Молотов сказал: «Устрою всем вам здесь квартиры метр в метр или больше», что и сделал. (*Перерыв в записи.*)

Вы включите?

В.Д.: Включил, включил.

Б.Д.: Вот наши старички ездили. И был, говорят, такой эпизод, что один какой-то Алексей Иванович уже ездил, а Петр Карлович еще не ездил. Вот Петру Карловичу любопытно — пришел и говорит (*с расстановкой, трескучим голосом*): «Ну, как, Алексей Иванович, были в первопрестольной-то?» — «Был, голубчик, был». — «Ну, и видели мавзолей Фомича?» — «А еще советский академик! Не Фомича, а Кузьмича». (*Дувакин смеется*).

” В это же время новые академики: один другому говорит: «Петро, слухав? На Марсе-то люди есть!» — «О, не думаю, то гипотенуза».

(*Дувакин смеется*.) Это называется — старые и новые академики.

В.Д.: Этот анекдот, да?

Б.Д.: Да. Старые и новые академики.

Хорошо, теперь что вам дальше сказать? Так все это было. Потом велели переехать в Москву. Когда я переезжал в Москву, то я думал, что я, главное, утеряю университет, я все-таки любил лекции читать. Но меня сейчас же здесь выбрали — заведующий кафедрой высшей геометрии. А там я заведовал кафедрой алгебры и теории чисел. Ну, прекрасно, значит, все хорошо. Квартиру дали — ничего.

В.Д.: Да.

Б.Д.: Шесть больших комнат, сто тридцать метров, жить можно было. Хорошо. И вообще очень хорошо было все здесь, очень хорошо. Вот так мы прожили еще с 35-го года до 41-го. А об альпинизме потом, да?

В.Д.: Как хотите, давайте сегодня еще. Альпинизм — это, пожалуй, очень интересно, потому что это уже 30-е годы...

Эвакуация

Б.Д.: Затем началась война, и мы прожили только месяц войны здесь. Затем подали шикарные поезда и всех академических работников перевезли в Казань. В Казань мы ехали почему-то три дня, в самых шикарных поездах, какие возможно, потому что их все равно некуда было девать. В Казани нас сначала всех поселили — ну, главных, так сказать, — в аудиториях университета, а потом начали расселять по разным частным квартирам. Я попал к профессору геометрии Казанского университета. Там прожили мы два года.

Сначала нас кормили в Казани очень хорошо. А переехало пять тысяч человек, считая семьи. Разрешили старшим, то есть членам Академии, взять по двадцать пудов чего хотят. Ну, всяких простынь взяли и так далее — на обмен. Сначала месяц кормили очень хорошо, а потом вдруг на столовой нашей оказалась записка, что кормить будут только основных работников, и гораздо поплоше. Что делать? Голод начался. Ну, все простыни так и полетели на базар одна за другой, за всякие...

В.Д.: За масло.

Б.Д.: Ну, какое там масло! За зерно, муку и так далее.

У нас директором в институте был Виноградов с самого основания, а тогда он на два года ушел из директорства — отдохнуть в течение войны (он был избран почетным членом Королевского общества, и ему что-то приходили какие-то вспомоществования, не знаю), и был директором Соболев.

(Я еще минут сорок.)

В.Д.: Хорошо.

Б.Д.: Соболев — это такой очень талантливый математик, прошедший в академики в тридцать лет уже: отчасти — потому что хороший математик, отчасти — потому что он единственный из нас уже привык к новому — ну, у нас еще тут гарканье это делалось — и кричал: «Да здравствует великий, любимый наш учитель и отец товарищ Сталин!» Тогда его не долго думая — и в Верховный Совет, и всюду.

В.Д.: Да, он 907-го года рождения. Я его выбирал.

Б.Д.: В общем, он решил так, что не стоит этой математикой заниматься, а надо вот вычислять траектории полета снарядов. Ну, какие-то у нас там жулики-вычислители были, и он считал, что это самое важное, а мы лишь бы дисциплину соблюдали, то есть каждую неделю на Совет приходили.

В.Д.: А он был директором института?

Б.Д.: Института, два года. Ну, ничего. В общем, я как-то ему говорю:

” «Сергей Львович, мы начинаем голодать. Я уже по временам Гражданской войны знаю, как спасаются: надо заводить огороды. Давайте заводить огороды». А он говорит: «Если вы такой мужлан, что вы огородами интересуетесь, я вас сейчас же на фронт пошлю, я единоначальник!», и так далее.

В.Д.: Ах, так держался?

Б.Д.: Ужасно, ужасно, просто ужасно, на всех кричал.

В.Д.: Я помню... я за него голосовал.

Б.Д.: На всех кричал, и на Виноградова кричал, как на собаку. Он как-то не понял, кто он такой. А теперь он милейший человек, мы большие приятели. Совсем изменился. Да. Но, представьте себе, ровно на следующий день в «Правде» — статья Калинина, самого нашего...

В.Д.: Президента.

Б.Д.: ...ну, как он там?.. староста или президент... что надо делать огороды всем, кто только может. Вот тебе и на! Тогда меня сделали не больше не меньше как председателем огородной комиссии Академии наук. Это значит пять тысяч человек прокормить. Я добыл в обкоме землю, совсем целину, за Казанкой — вот урожаи были! Все копали: какой-то Понтрягин слепой копал, Виноградов так и накапывал. *(Дувакин смеется.)* Такие у нас урожайчики были, что дай-то бог! И Соболев накапывал. *(Дувакин смеется.)* И, в общем, в смысле питания мы тогда себя обеспечили, это уже обеспечение: и картошка, и капуста, и кабачки, и огурцы — все что хочешь. Только, значит, жиры, вот с жирами трудно, ну, а о мясе и не думали. И вообще было время, когда день за днем каждую ночь только одни сны — такие глупые: если б я сообразил тогда купить два пуда этой... ну, плохо этой смолотой муки, я бы был спасен.

В.Д.: Да.

Б.Д.: Страшный голод был. Я опять слеп и так далее...

У меня такой ученик Александр Данилович Александров был, очень талантливый геометр, просто настоящий талант геометрический. Очень рано выдвинулся. Он тогда уж хорошую работу очень сделал, самую лучшую работу в своей жизни сделал к тому времени — я ее начал, но не смог сделать, а он сделал, — и ему мы хотели устроить Сталинскую премию большую, сто тысяч тогда. Но все-таки я должен был очень стараться, чтобы эта вышла премия, как его учитель. В общем, он тоже не дурак: он сейчас же поехал куда-то за двести километров от Казани, где-то там купил пять кило внутреннего жира мясного и мне привез. Ну, после этого уж я должен был устроить, и устроил, и он получил сто тысяч премию.

Значит, так. Потом, весной... как будто в феврале сорок третьего года к нам был такой клич: не хочет ли кто вернуться в Москву? Но с каждым отдельно партком разговаривал, потому что, говорит, конечно, возможны еще бомбежки Москвы, так что решитесь или не решитесь? Все решились. Кажется, ни одного человека не было, кто не решился. Все поехали в Москву, вернулись в Москву.

В Москве наш дом этот на Пятницкой, где у меня эта колоссальная квартира была, был очень разрушен. Первая бомба, попавшая в Москву, двестипятьдесяткиловая, порядочная, попала в сад нашего дома. Все стекла во всем доме — к черту, все рамы спереди и все внутренние перегородки покосило. Так что долго считалось, что его просто уничтожат, этот дом, и больше ничего.

В.Д.: Его отстроили?

Б.Д.: Моя жена была очень энергичной, членом комитета по дому, и она настояла — его просто поправили, и все жили прекрасно. Как только мы начали там хорошо жить — у меня вот очень хороший рояль стоит Блютнера, — как к нам начал ходить и все время у нас играть Рихтер, Святослав Рихтер. Целыми ночами играл. (*Восторженным шепотом.*) Замечательно играет! замечательно! память какая!

В.Д.: Не переходите на шепот.

Б.Д.: Это такой талант, Рихтер, талант. Вот Рихтер у нас играл.

Ну, а потом что же пошло? Ну, потом все нормально — вот математика, математика и еще раз математика.

Альпинизм

А теперь я расскажу совсем о другом. У меня увлечений в жизни ненаучных было три: планеры, но я рассказал, затем вот эти олимпиады, и я вам рассказал, и, наконец, самое главное увлечение — альпинизм (вообще спорт и, в частности, альпинизм*). Первый раз я альпинизмом занимался в 903-м году: мне было тринадцать лет, мы с отцом и проводником на одну вершину в Доломитах подымались.

* Одним из результатов этого («главного») увлечения Б.Н.Делоне был составленный им путеводитель «Вершины Западного Кавказа» (М., «Физкультура и спорт», 1938).

В.Д.: Это вы рассказывали, да.

Б.Д.: Часто мы ездили за границу до войны Первой мировой, и каждый раз я все два месяца летних или в Швейцарии, или в Италии альпинизмом занимался — сделался настоящим, заправским, опытным альпинистом. А затем, как началась Первая мировая война, — конец альпинизму. Потом Гражданская война — какой уж альпинизм? Потом самое начало — какой уж альпинизм? И опять я вернулся к альпинизму только в 25-м году уже — одиннадцать лет перерыва.

В.Д.: То есть вам уже тридцать пять лет?

Б.Д.: Уже было тридцать пять лет.

В.Д.: Уже это не первая молодость.

Б.Д.: Не первая молодость. Но силен я был как черт, невероятно силен. Вынослив и силен. Например, в Казани в пятьдесят три года я раз прошел пешком без остановки сто десять километров. Без остановки. Остановка на полчаса покушать и на полчаса покурить и выкупаться. Сто десять километров!



С сыном Н.Б. Делоне. Кавказ, Теберда, 1946 г.

В.Д.: Ну, а поспать?

Б.Д.: Двадцать четыре часа шли: часть ночи, день и часть ночи.

В.Д.: Двадцать четыре часа?

Б.Д.: Да, подряд шли, сто десять километров. Это со мной прошел также Никольский, вот сейчас новый академик, математик, ну, так себе, но милый человек, и Шафаревич, совсем еще мальчиком. А Никольский после восьмидесяти километров упал и говорит: «Никуда дальше не пойду». А была ночь, и деревни все далеко. Ну, мы его, как лошадь, так, ногой-ногой — и дальше пошел, еще десять километров — опять упал.

В.Д.: И сердце не испортили?

Б.Д.: Нет, нет. Только спал потом двадцать четыре часа. Пришел в Казань — и рухнул спать.

Это одно. Теперь, значит, альпинизм. В 25-м году я опять поехал (а я на Казбеке был в 14-м году, а остальное всё — Швейцария и итальянские Альпы, а потом и тирольские Альпы) — опять поехал на Кавказ, в Теберду, и сразу там сделал целый ряд первовосхождений, и два восхождения — на эту знаменитую Софруджу, которая сейчас самая популярная вершина...

В.Д.: Знаменитую что?

Б.Д.: Софруджа, такая самая популярная вершина сейчас, с нее видно Малую Азию прекрасно. Это начался опять альпинизм. Потом альпинизм каждый год был, я пропустил только 27-й год: очень занимался одним математическим вопросом — не хотел его бросать. А то все годы подряд, подряд — альпинизм, до 41-го года исключительно, 42-й и 43-й, а в 44-м я был разведчиком альпиниады на сто человек на Кавказ.

Это велело военное ведомство — штатскую альпиниаду пустить в район тебердинских Альп, для того чтобы доказать, что хотя там немцы были, но теперь просто советские люди там лазают. И потом — сплошь альпинизм: либо Кавказ, либо Алтай (очень много Алтая, много Алтая), либо Тянь-Шань.

Теперь, что я сделал в альпинизме? Я три сделал таких общественных дела — не научных, общественных: планеризм, вот эти самые олимпиады и альпинизм. Я был основатель советского альпинизма, просто основатель, да-да-да. Официально так считается, что три было основателя: Крыленко, нарком...

В.Д.: Расстрелянный потом, да.

Б.Д.: ...затем Семеновский, знаменитый альпинист — он был нашим полпредом в Гамбурге, старый такой большевик, и он прошел проводническую школу в Альпах, вот удивительный был специалист, — и я, вот мы и основали. Причем, собственно, я в основном; они меньше действовали.



Борис Николаевич Делоне

Значит, что я придумал? Очень умную вещь, до сих пор весь наш альпинизм этим способом и действует: лагерь, стационарный лагерь. Этого ни в одной стране нет. То есть у ледника где-нибудь делается стационарный лагерь, и на все лето туда приезжают и делают разные восхождения. Это оказалось отчаянно выгодно в альпинистском смысле, потому что в этом лагере есть инструкторы — хорошие альпинисты, на каждого инструктора — восемь инструктируемых, это норма. Ну, он их действительно учит, потому что он опытный, где только ни бывал такой инструктор. Перед войной было тридцать четыре лагеря у нас, некоторые очень большие. Некоторые так, что смена двести человек, даже один — смена триста человек. Ну, четыре смены за лето, иногда даже пять смен. И вот весь наш альпинизм идет лагерями. Это было мое, так сказать, открытие. Нигде в мире лагерей нет: ни в Чехословакии...

В.Д.: И все индивидуально идут прямо снизу?

Б.Д.: Кто?

В.Д.: Ну, вообще — альпинисты другие, других стран, поднимаются...

Б.Д.: Они индивидуально, они индивидуально, совсем индивидуально, совсем. У них другое есть — институт проводников, которого у нас нету: просто крестьяне за плату водят на вершины. И очень точная расценка: скажем, Монблан — столько-то, такая-то вершинка — столько-то, такая — столько-то, в зависимости от трудности и знаменитости. У них есть институт проводников. У нас института проводников просто нету, нет платных проводников на вершины, нет.

Затем, у них — институт хижин. У них в Альпах больше, кажется, сорока тысяч сейчас спортивных хижин. Это где-нибудь высоко, черт знает туда сколько лезть, — там хижина, в которой можно ночевать. У нас хижин просто нету — ну, одна или две.

В.Д.: Но есть палатки.

Б.Д.: Палатки — это совсем другое. Мы палатками обходимся.

В.Д.: Что?

Б.Д.: Мы обходимся палатками, а они хижинами. Хижина же теплая.

В.Д.: Да, но и потом все-таки же Альпы, даже Монблан и прочее, — все-таки это меньше, чем Кавказ и Алтай.

Б.Д.: Нет-нет-нет-нет-нет-нет, в смысле гор — одинаково. Ну, чуть-чуть ниже, это пустяк. Высшая вершина Кавказа — это Дыхтау, пять тысяч двести два. Ну, Эльбрус — это вулкан, это чепуха, это куча такая, а из таких острых вершин — Дыхтау. Следующая — Шхара, Коштантау: ну, это всё пять тысяч сто — вот так.

В.Д.: Алтайские вершины.

Б.Д.: А в Альпах — ну, Монблан, [нрзб.], Роза — чуть-чуть ниже, метров на четыреста ниже, и очень тоже острые. Нет-нет, они такие же. А Алтай ниже Альп.

В.Д. (удивленно): Алтай ниже Альп?

Б.Д.: Да, ниже. Высшая — Белуха — четыре пятьсот, а Монблан — четыре восемьсот.

А вот Тянь-Шань — семь пятьсот, Памир — семь пятьсот. Это другое дело.

Так что я занимался очень много альпинизмом и создал, так сказать, наш альпинизм. Ну, не один, там, со всеми товарищами. Большую роль сыграл Крыленко. Он был очень волевой человек. Но все-таки нарком — так что он имел возможность. Он был сначала прокурор республики...



С. Р. Гауллиулиным. Алтай, конец 1960-х — начало 1970-х гг.

В.Д.: Я помню.

Б.Д.: ...потом — нарком. Он имел возможность.

В.Д.: А Шмидт не участвовал в экспедициях?

Б.Д.: Ну, Шмидт немножко альпинист.

В.Д.: Я слышал какие-то его...

Б.Д.: В Памирской экспедиции он участвовал, да. Ну, он, так сказать, нет, нет. Он, когда умирал, Шмидт, просто умирал, совсем, от чахотки, в больнице, а у нас был Всесоюзный конгресс математиков, так мы решили (он алгебраист был), пять лучших алгебраистов, пойти с ним прощаться. Он лежал, тела у него почти не было, только голова, ум еще свежий.

В.Д.: А у него что — рак был?

Б.Д.: Нет-нет, туберкулез, туберкулез легких. У него всегда был, давно еще, со студенческих времен, туберкулез легких.

И он уже умирал, и вот... Я был наиболее близок ему из тех, кто пришел, мы там поговорили. Он говорит: «Знаете, Борис Николаевич, я не боюсь умирать. Я столько хорошего видел в жизни, такую интересную жизнь пережил, что я не боюсь умирать. Об одном я только жалею — что я не сделался заправским

альпинистом». (*Дувакин усмехается.*) Это Шмидт.

В.Д.: Хорошо.

Б.Д.: Очень мило.

Мать Мария

В.Д.: Да, в заключение — так, не пришлось все-таки к случаю — расскажите все-таки о том, кем вам приходится вот эта мать Мария.

Б.Д.: А-а-а! Значит, как я вам говорил, у папы была сестра, тетя Соня. У сестры оказалось, как я вам говорил, сто тысяч денег царских. Тогда сейчас же за ней прихлыстнул такой казак кубанский Пиленко, из Анапы, у которого были огромные земли под Анапой, но пустые земли. Он на эти деньги развел виноградники — очень большие, Джемете и Хан-Чокрак. Теперь, у него была дочка, на год меня моложе, Лизочка.

В.Д.: Лиза?

Б.Д.: Лиза, да. А мы два раза у них жили: 900-й год, когда мне было десять, и 902-й — ну, как бы на даче. Целый дом нам давал там, богато жил очень. Ну так вот. Когда Лизочке минуло лет шестнадцать...

В.Д.: И вы вместе росли?

Б.Д.: Ну, да, там, ну — летом, летом. Очень она миленькая девочка была — девочка и девочка.

В.Д.: Миленькая девочка.

Б.Д.: Миленькая девочка, да.

В.Д.: И вы, да, рассказывали, что вы ходили купаться...

Б.Д.: Да, купаться, и нам отчаянно доставалось, зачем вместе в голом виде купались, а нам даже в голову не приходило.

Да, ну, когда ей лет шестнадцать уж стало, не двенадцать, то она решила, что надо ехать в центр нашего русского мира, то есть в Петербург. Тогда, конечно, центр был Петербург, а не Москва: там царь жил, туда все средства тратились, Исаакиевский собор какой-то грандиозный, и так далее, и Эрмитаж, и тому подобное. В Петербурге она поступила, конечно, на курсы, как всякая девочка, и решила сблизиться с самыми интеллигентными людьми, и сделалась поэтессой. Об ней даже упоминает несколько раз в своих письмах Блок. И вышла замуж за такого Кузьмина-Караваева. Это такой плюгавый сынок такого профессора Кузьмина-Караваева, кадета известного.

В.Д.: Да-да, я знаю.

Б.Д.: Но потом ей этот Кузьмин-Караваев показался худосочным слишком, и она сблизилась с Черновым, главным эсером, а главный эсер ее увез в 18-м году в эмиграцию в Париж — и бросил. И она в Париже, эта Лизочка, начала зарабатывать тем... она немножко художницей была — расписывала дамские платья. Такая мода была: дама покупала шелковое облегающее платье, а художница ей расписывала узоры, на ней. Хорошо. А затем я совсем думал, что ее уже больше и нету, этой Лизочки, на свете. И вдруг приехал в Советский Союз Андре Жид. Ко мне звонок — это я еще в Ленинграде тогда был, это было, кажется, в 32-м году, — и некая появляется девица, и говорит: «Я твоя племянница, я Лизочкина дочка, ты меня на руках носил». Я говорю: «Ничего подобного. А кто вы такая?» Говорит: «Я приехала прямо из Парижа в чемодане у Андрея Жида». Я говорю: «Ну, и что же?» — «Можно у тебя жить?» Я говорю: «Конечно, нет. Как же я могу белоэмигрантку, мне неизвестную, принять? Да, может, это и не вы, а кто-то другой». Она говорит: «Я тебе принесу письмо от второго секретаря обкома ленинградского». Я говорю: «Это другое дело. Если принесете, то это будет другой разговор». Не принесла. Но, чтоб доказать, что это она, она мне такую фотографию дала, где, действительно, Лизочка — сидит в каком-то клубе, а рядом монахини вокруг.

Она сделалась аббатессой монастыря в Париже. И я опять об ней позабыл, решил, что все они померли, никого их больше нет. А потом раз был как раз у вашего знакомого и моего большого приятеля Коли Анциферова — он говорит: «А знаешь ты, что случилось в Париже? Такая...» Кажется, она сестра Мария называлась...

В.Д.: Мать Мария.

Б.Д.:... Хотя она Елизавета, но меняют же имя.

В.Д.: Да-да.

Б.Д.: Значит, она обыкновенно приходила к смертницам в камеры их причащать перед тем, как гестапо их казнило. И вот она пришла к одной француженке, начала, там, о Боге говорить, о том — о сем, а француженка говорит: «Да какой мне ваш Бог, когда просто у меня трое детей, а завтра утром меня не будет». Это на нее так подействовало, что она сняла свой клобук — надела на ту, всю эту одежду, и та свободно вышла, а она легла на ее место, и ей отрезали голову. А та долго искала, из какого монастыря эта, и потом по всем признакам узнала: там исчезла настоятельница монастыря. После этого ее посмертно сделали героиней Сопротивления Франции, такой официальный термин, и папа римский канонизировал как святую. Значит, у меня есть просто святая двоюродная сестра — правда, умершая.

В.Д.: Да. А что вы — такой вопрос — насчет Коли Анциферова? Вы его хорошо знали?

Б.Д.: Очень хорошо.

В.Д.: Николай Павлович, я его знал.

Б.Д.: Да-да. Это единственный из молодых людей, с которым я знаком с пятилетнего возраста. Когда мой отец был в Ново-Александрии профессором, как я говорил, то мы жили в таком... вообще там больших домов не было, все одноэтажные, но в хорошем большом семикомнатном одноэтажном доме, с очень шикарным садом, и так далее, и плодовый сад, а забор к забору нашему жил такой... дядя Николая Павловича — ученик главный изобретателя целой науки, почвоведения, этого...

В.Д.: Докучаева.

Б.Д.: Докучаева. Я забыл его фамилию*. Так вот мы через забор лазали в дыру друг к другу и менялись горшочками какими-то, яблочками, еще чем-то. С тех пор, с пятилетнего возраста, мы постоянно нет-нет встречались с Николаем Павловичем, так что я его очень близко знал.

* Речь идет о Николае Михайловиче Сибирцеве; на самом деле, он был не дядей, а двоюродным братом Н.П. Анциферова, писавшего о нем в своих мемуарах: «Это был любимый племянник моего отца, который был старше его всего на три-четыре года. Своих двоюродных братьев Сибирцевых я звал: дядя Утя и дядя Коля» (Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., «Феникс», «Культурная инициатива», 1992. С. 21.).

В.Д.: Ну, что он за человек вообще, по-вашему?

Б.Д.: По-моему, очень интересный был человек, очень.

В.Д.: Интересный.

Б.Д.: При царе он очень против царского режима все время выступал. Он интересный был человек, очень интересный.

В.Д.: Он религиозный человек был, нет?

Б.Д.: Религиозный, религиозный.

В.Д.: Я его знал стариком.

Б.Д.: Но потом, в старости, у него иногда собирались такие лица, будирующие весьма, всякие дамочки и так далее. Как-то раз я к нему пришел (вот когда он мне как раз о Лизочке рассказал), а там сидят какие-то такие — такую чепуху говорят, что я на них разозлился и говорю: «Не говорите при мне чепухи,

помолчите-ка лучше!» И вот тут он мне как раз рассказал об этой матери Марии.



Одно из последних фото: с С. Шаровым-Делоне, Г. и В. Ерофеевыми, Г. Суперфином. Абрамцево, май 1980 г.

В.Д.: Так а что это за люди? какого типа люди были?

Б.Д.: Ну, знаете, всякие дамочки, которым все не нравится, все советское не нравится, все нехорошо. Нет, он был, по-моему, довольно талантливый писатель. Все-таки его книга «Душа Петербурга» написана хорошо.

В.Д.: Он был специалист по экскурсиям...

Б.Д.: Да-да-да, да-да, да-да-да, экскурсиям по Ленинграду.

В.Д.: Да. Вот вы — олимпиады, а то есть экскурсионное дело, музейные экспозиции и так далее.

Б.Д.: Да-да-да, да-да-да.

В.Д.: Вот. Его женой была потом, второй женой, Софья Александровна Билибина.

Б.Д.: Да-да.

В.Д.: Ну, хорошо, на этом мы сейчас закончим. Теперь скажите, пожалуйста, — ну, как? Вообще мы, сверх моего ожидания, более-менее закончили.

Б.Д.: Да.

В.Д.: А что еще у вас есть? Стоит ли делать вторую?

Б.Д.: По-моему, просто не стоит.

В.Д.: У вас самого — у вас нет, так сказать, запала еще на что-то? Но имейте в виду, меня все-таки интересует не послевоенная, а вот примерно до тридцать пятого года. Что бы вам еще хотелось?

Б.Д.: Ну, мало ли? Вот я вам могу две-три штучки рассказать, а вы послушаете, стоит такую вещь рассказывать.

В.Д.: Ну.

Б.Д.: Ну, скажем, в девятьсот пятом году мой отец был профессор Политехнического института в Варшаве. Совершенно аполитичным, по-видимому, был и просто верил, что народ любит царя. И вдруг директор этого института, некий минеролог Загорьев — это, между прочим, брат художника Загорьева, мариниста, — он собрал всех профессоров Политехнического на такой специальный совет, заказал такие здоровые полотна, где все партии объяснены, какая чего хочет (это только вы не записывайте), — и вот они там сидели до глубокой ночи, профессора, и изучали, какие есть партии на свете. И отец мой пришел — говорит: «Ну, Борисик, знаешь, да-а-а! Знаешь, есть какие партии! Например, социал-революционеры — прямо бомбу бросает. *(Шепотом)* А то есть еще социал-демократы — лучше ты этого и слова не говори, сразу тебя схватят». Вот до чего еще были тогда несмышленишами хорошие ученые, совершенно несмышлениши были, совершенно, — ни нашего, ни вашего не понимал. И уже потом через год его Ломоносов* так распропагандировал, что он все начал понимать, дай бог!

* Юрий Владимирович Ломоносов (1876-1952) — в 1900-1910-е гг. профессор Варшавского политехнического института.

В.Д.: Ну, ладно.

Б.Д.: Это интересно. *(Перерыв в записи.)*

В.Д.: На этом запись беседы с Борисом Николаевичем Делоне закончилась. Борис Николаевич стал заниматься своими домашними делами.



Алтай. Справа — пик Делоне.

Фотографии предоставлены внуком Б.Н. Делоне — С.А. Шаровым-Делоне.

Первая публикация интервью: Делоне Б.Н. Беседа 14 декабря 1973 года // Математики рассказывают. М.: «Минувшее», 2005. С. 115–153.

